

Горит пшеница у села,  
горит пшеница,  
гудят, звонят колокола  
вблизи границы.  
Не девять жизней у бойца —  
в крови тряпица,  
и нет на матери лица...  
Горит пшеница.  
Пришла пехота до села  
набрать водицы,  
плохие, граждане, дела —  
горит пшеница.  
Тут кто за славу, кто за честь,  
кто поневоле,  
а колосков считать — не счесть  
в горящем поле.  
Луганский пепел и песок  
застрял в зенице,  
расчёты целятся в лесок,  
но жгут пшеницу.  
Из-под колёс, из-под копыт,

из тьмы троянской,  
из века в век она горит  
в груди крестьянской.  
Крестьянам сеять и пахать,  
растить, чтоб крепла,  
солдатам жечь и отряхать  
берцы от пепла.  
Лежать нам вместе осередь,  
где лес и реки...  
А ей пылать, пылать-гореть —  
веков во веки...

\* \* \*

Встала из дубовой домовины —  
Никому, старуха, не нужна...  
Липовой ногой до Украины  
Стучает гражданская война.  
Хромая, а выкинет коленца,  
Спляшет казакам и морякам,  
Русским ополченцам и чеченцам,  
Западэнцам, вдовам, старикам.  
Сирая, идёт по полю боя —  
Маловато полюшко по ней...  
Стукнет деревянную ногою:  
— Ну-ка, дать тачанку да коней!  
Русская она наполовину,  
На другую — липова она.  
Покряхтит да ляжет в домовину  
Старая гражданская война.  
Крышку деревянную надвинет,  
Снова одинёшенька-одна...  
На войне ни крови, ни вины нет,  
На войне какая уж вина...

\* \* \*

Помню я: фуражные подводы, дебаркадер, праздничный народ,  
Корчева, ушедшая под воду, смотрит на меня из чёрных вод...  
Вязкий жар размякшего металла, напряжение самолётных крыл...  
Лучше помню: бабочка летала, паучок свой невод мастерил.  
А ещё я помню: у сарая однорукый Осип говорил,  
что земля литовская сырая у лесных шевелится могил,  
что едим мы хлеб на дармовщину, зажрались и потеряли страх,  
одного оставили мужчину на пяти окрестных хуторах.  
Ловко левой зашивая брюки, мокрым кашлем надрывал нутро,  
и доил корову однорукий в жестяное мятое ведро.  
Что-то жизни снится мне начало, во первых является строках.  
Как страна великая звучала! Как качала шкета на руках!

\* \* \*

Если долго ехать за грибами  
через перелески-пустыри,  
родина железными зубами  
улыбнётся около Твери.  
Старые вагоны прицепные

по моей мотаются земле —  
зубы несносимые стальные,  
в трещинах ладони на столе.  
А на юге — зубы золотые,  
а в столицах — белые, как мел.  
Ближе мне железные, простые,  
техник что поставил, как умел.  
Маковки на храмах золотые,  
голубые маковки взакрут...  
Тут меня положат под святыми,  
за меня кирнут, меня ругнут.  
Жили здесь мы, сталкивались лбами...  
Сетуя, любя или гнобя...  
Родина железными зубами  
держит, не пускает от себя.

\* \* \*

Старуху с банками в кошёлках, дедка с ведёрком чеснока  
и парня в лагерных наколках несёт великая река.  
Дымит паром, дедок шуткует, мотает бакены волной,  
“КамАЗ” на пристани паркуют напротив бочки нефтяной.  
И пахнет дымом и соляркой, и рыбу чистит на лотке  
по виду старая доярка в посадском хлопковом платке...  
На чёрном фоне или белом, в любом проведенном краю  
углём кузнецким, курским мелом рисую родину мою...  
Но у дощатого причала в краю мочала и кайла  
она сама меня стачала, сковала, в воске отлила.  
Причал. Тут пьют и расстаются, сидят до вязкой темноты...  
И всё никак не удаются неуловимые черты.

\* \* \*

Ни отца не жалко, ни Россию —  
батя мёртв, а родина жива,  
и трава над тещей Евдокией  
зелена, душиста, тылова.  
Через рвы на торфоразработках,  
трудфронты, подёнщину, барак —  
в подработках и переработках,  
с меленькой картошки на бурак  
жизнь прошла, как будто не бывало,  
как по лугу чиркнула коса.  
Над собою вижу покрывало —  
Евдокия держит в небесах.